

НАУКА ИСТИННАЯ И МНИМАЯ

Наука без морали погибнет

Духовность не может существовать в одиночку. Она создается или подавляется средой, в семье ученых. Какая сложилась семья — такая в ней и нравственность. И вот сегодня мы пребываем в состоянии духовного сиротства.

При этом я имею в виду, что у нас в науке мало осталось личностей, которых и коллеги, и ученики почитали бы за духовных отцов, по которым сверяли бы свои поступки, как по этическому камертону. А ведь всегда, во все эпохи в Отечестве нашем были личности, которых современники почитали как совесть нации: Лев Толстой, Достоевский, Некрасов, Белинский. Я называл писателей. Но могу обозначить и такой же ряд ученых.

Меня в свое время удивили вавиловские «Пять материалов», и я даже написал на них рецензию. В них открывается одна очень светлая грань его личности: огромный, искренний интерес к людям в любой точке планеты, к их жизни, болям, тревогам. Характеристики людей у него поразительные. Сквозь строки просвечивает его кровная связь с окружающим обществом, но связь не административная, не абстрактно-теоретическая, а через интерес к живым, конкретным людям. Это, между прочим, отмечают и все, кто работал рядом с ним. Я знал секретаря Н.И. Вавилова. И мне запомнилось (это было еще при его жизни) ее восхищение порядочностью, честностью, этической чистотой этого человека уже в нелегкие и для него, и для страны времена. Интерес не только к своей специальности, но и к людям, снисходительность к их странностям и слабостям, понимание человеческого в человеке, сочувствие ему — очень важная черта настоящего ученого. Николай Ива-

нович Вавилов обладал ею в высшей степени. Беда науки не только в том, что его лично уничтожили. Уничтожили его школу, его учеников, единомышленников и — уничтожили его оппонентов, сам дух развития науки через спор, дискуссию, через столкновение разных позиций, через всё то, что выводило советскую генетику на первое место в мире. Ибо Лысенко оппонентом не был. То, что он сделал, — это уже вне науки и ее дискуссий.

Да, такие ученые, как Вавилов, были не только гениями, но и совестью народа. А сейчас что происходит? Среди ведущих ученых буквально единицы, с кем люди считались бы. Но ведь это важно, чтобы человек имел репутацию. Чтобы о ком-то говорили: «Это глубоко порядочный человек». Или, наоборот: «Этому человеку я не подам руки».

Часто мы не подаем руки мерзавцам? Стараемся на всякий случай подать — «чтобы не связываться». А людям нужно не подавать руки, если они совершают подлость, в том числе и предательство истины в науке. Да, у нас сейчас многие ученые не имеют репутации.

Это первое, что предстоит восстановить из руин. И по сей день некоторые люди, числящие себя по ведомству (именно по ведомству!) науки, не стесняются выступать по одному и тому же вопросу с совершенно противоположными мнениями в зависимости нынешней конъюнктуры. Вчера они восхваляли Брежнева, сегодня — Горбачева. Это оскорбительно по отношению к сути оздоровительных процессов в обществе. Перестройке нужны твердые убеждения, а не флюгеры.

«Известия». 24 марта 1989 г.;

То же в книге: Я вспоминаю. М., 1991. С. 176—178

* * *

Кабинет современного ученого — вся окружающая его действительность, современная и прошлая.

* * *

Самый верный путь ученого — путь самой науки: заботиться только о выявлении научной истины и больше ни о чем на свете.

* * *

Если ученый гонится за званиями или степенями, он рискует убежать от своей специальности.

* * *

Главный враг науки — наукообразность. Главная опасность наукообразности — в ее «близости» к науке.

* * *

Отрицательный результат исследования — тоже результат, причем обычно самый бесспорный.

* * *

Самый позорный провал в науке — применить порочный метод, а не просто прийти к неверному выводу.

* * *

Страховаться в науке следует чувством готовности претерпеть неудачу.

* * *

Во всякой неудаче эксперимента есть удача.

* * *

Самое большое мужество ученого — вовремя признавать свои ошибки.

* * *

Высокая нравственность ученого проявляется прежде всего в ответственном отношении к своей исследовательской работе.

* * *

Не количество работ, а их качество!

* * *

Ученый слушает все советы, но слушается только умных.

* * *

Долг ученого — иметь преемников. Ум ученого — давать творческую свободу своим преемникам. Доброта ученого — не иметь секретов от своих преемников.

* * *

«Воровство в науке» — пользоваться чужими материалами, не ссылаясь на их истинных владельцев.

* * *

«Браконьерство в науке» — перехватывать чужие темы.

* * *

«Хулиганство в науке» — ругать предшественников, скрытно пользуясь (хотя бы частично) их материалами.

* * *

«Разбой в науке» — заставлять писать за себя подчиненных или зависимых исследователей.

* * *

«Карманное воровство в науке» — ссылаться на источники из чужих рук.

* * *

Чистоплюйство в науке — выбирать только «выгодные» для себя темы.

* * *

Ссылаться на предшественников не в главном, а во второстепенном — это выдавать им чаевые вместо платы.

* * *

Как «театр начинается с гардероба», так научная работа начинается с ее названия: точного, делового.

* * *

Краткость — вежливость ученого.

* * *

Главное достоинство научного языка — ясность.

* * *

Хороший язык научной работы не замечен читателям. Заметной должна быть только мысль.

* * *

Не верьте длинным докладам — аргументированные обычно коротки!

* * *

Если ученый создает сотни новых терминов — он разрушает науку, десятки — поддерживает ее, два-три — двигает науку вперед.

* * *

Молчание в науке — знак несогласия.

* * *

Мозг устроен с большим «запасом». Если этот «запас» нечем занять, то он питается «заменителями». Так создается псевдонаука, псевдознание, псевдомузыка, псевдоискусство и т. д.

* * *

Одни ученые должны писать много, но пишут мало, другие должны бы были писать мало, но, к несчастью, пишут много.

* * *

Каждый ученый должен обладать благодарностью к предшественникам, уважением к современникам и ответственностью перед будущими учеными. Тогда дело его будет многолетним на земле.

*Мысли о науке // Прошлое — будущему:
Статьи и очерки. М., 1985. С. 564—573*

«Проработки»

(Из истории гуманитарной науки
1930—1960-х гг.)

Задача этой главы моих воспоминаний не восстановить историю «проработок», охватившую три десятилетия, имеющую предысторию и постисторию. Это потребовало бы обращения к документам (может быть, сохранившимся стенограммам и другим материалам), газетам и журналам того времени. В мою задачу не может входить и выяснение смысла «проработок», их идеологической основы: по-моему, в них было много бессмыслицы, вызванной исключительно стремлением партийных организаций показать свою власть, твердость и готовность руководить тем, чего они, по существу, не понимали.

В этой главе я коснусь, в основном, техники «проработок», их психологического воздействия на «неорганизованную массу» ученых и неученых, учеников и учителей. «Проработки» являлись гласным доносительством, давали свободу озлобленности и зависти. Это был шабаш зла, торжество всяческой гнусности, когда люди (по крайней мере, часть из них) даже стремились прослыть мерзавцами, ища упоения в ужасе, внушаемом ими окружающим. Это было своего рода массовое душевное заболевание, постепенно охватившее всю страну. Люди не стыдились быть стукачами. Даже намекали на свою особую власть.

«Проработки» 30—60-х гг. входили в определенную систему уничтожения Добра, были — в какой-то мере — тенью показательных процессов конца 30-х гг. и учитывали их «опыт». Они были видом расправы с учеными, писателями, художниками, реставраторами, театральными работниками и прочей интеллигенцией.

Во что бы то ни стало надо было «выбить» у жертв «проработок» признание ими своей вины — хотя бы частичное. Никаких доказательств после признания (как и после признания подсудимых на процессах во время большого террора) уже не требовалось, а чем и как достигались эти признания, было не важно. Это было юридическое открытие

«академика» Вышинского. Поэтому и на показательных «проработках» интеллигенции надо было деморализовать истязуемого, довести его до такого состояния, когда ему было уже все безразлично и хотелось только побыстрее сойти со сцены, от всего отказавшись.

Поэтому присутствие толпы народа в зале или аудитории, где проходила «проработка», было на руку палачам. Даже если толпа была на стороне истязуемого, была не согласна с обвинениями, негодовала, сочувствовала, — все равно становиться «объектом» зрелища было крайне тяжело. «Проработки» собирали сотни студентов, просто любопытных: ведь будут «сечь» известных людей, авторов многих трудов, привыкших к благодарности слушателей и читателей. Если кто-то из выступавших стремился смягчить обвинения, ограничивался словами, которые уже звучали, — было уже неважно. Уже самим фактом своего участия они деморализовали обвиняемых.

Я помню такой случай. Прорабатывали известного знатока русского фольклора и этнографии Марка Константиновича Азадовского в Пушкинском Доме. Сидевшая рядом со мною известная фольклористка негодовала. Выступал известный проработчик — доцент ЛГУ И.П. Лапицкий, читавший частное письмо М.К. Азадовского, перехваченное и распечатанное ученицей Азадовского П.Г. Ширяевой. Моя соседка возмущалась: «Какой мерзавец! Какой мерзавец!» Председательствующий после Лапицкого вызвал мою соседку. Она энергично идет на кафедру и... ушам своим не верю! — обвиняет Азадовского. Затем возвращается на свое место и спрашивает меня: «Ну, как?» Я говорю: «Я думал, Вы станете защищать Марка Константиновича!» Она с негодованием отвечает: «Защищать бесполезно — все уже обречены. Но ведь я не сказала ничего нового, я повторила только то, что уже говорили».

Проработчикам это и нужно было: пусть говорят, что хотят, но пусть хоть чуть-чуть поддержат обвинение. Это «глас народа», своего рода античный хор греческой трагедии.

Делалось все, чтобы на процессах выступали именно близкие обвиняемому люди: друзья, ученики, аспиранты,

студенты, это было больше всего для прорабатываемого. Присутствующие перешептывались: «Как, и этот?», «Неужели же и он тоже?» и пр. А залы были переполнены стукачами. Одной из задач публичных «проработок» было стремление сломить непокорных в массе. Почти так, как это делалось в лагерях при приемке этапов.

Редко кто из обвиняемых выдерживал напор. Если не к победе, то хотя бы к краху обвинений и стыду обвинителей могло привести только решительное неприятие обвинений. Поэтому организаторы «проработок» очень боялись, что обвиняемый не признает обвинений. Часто с тем, кого назначали быть обвиняемым, вели переговоры в партбюро: просили «самокритично» отнестись к своим трудам и лекциям, чтобы не ставить под удар обкома свое учреждение. Еще никто толком не знал, в чем будет состоять суть обвинений, а уже упрашивали сознаться, обещая «милость падшему». Трудность защиты заключалась в том, что защитникам реально угрожала судьба «жертвы». Разгром шел не просто отдельных личностей, посмеявшихся как-то выделиться из общей массы, но и всей «школы», всего направления (пусть даже самого узкого и строго специального).

Я уже тогда из своего личного опыта, из общения с «каэрами»¹ конца 20-х гг. знал, что означает такое признание своей вины. В сущности, в своей теории самодостаточности публичного признания своей вины А.Я. Вышинский ничего нового не изобрел: он только обосновал теоретически то, что существовало на практике. Проработчики тоже «выбивали» признание из людей умственного труда, как это (с применением других средств) делали следователи ЧК, ОГПУ, НКВД.

Если жертва «проработки» отказывалась признать себя космополитом (антипатриотом, формалистом, последователем буржуазных методов в науке и пр.), его предлагали

¹ «КР» — сокращение от «контрреволюционер»; бытовало в лагерном обиходе: так называли осужденных «за контрреволюционную деятельность» (примеч. сост.).

считать «злостным противником линии партии», и только в счастливом случае — просто несамокритичным. Но даже если жертва и признавала свою вину хотя бы частично (полностью признать ее было просто невозможно: это было бы равносильно признанию в измене Родине), то на ней оставалось обвинение в «несамокритичности» и доля вины оставалась, но не настолько, чтобы изгнать со всех служб и перестать печатать.

Б.М. Эйхенбаум, который на «обсуждение» своих работ просто не явился, был уволен и вынужден жить на добродетельные пожертвования своих друзей. Друзья приходили к нему в гости, а заодно приносили большой пирог, торт и еще какие-либо закуски и тем подкармливали Бориса Михайловича.

Остракизм А. Ахматовой затянулся, и ей просто регулярно приносили еду Томашевские — даже суп в бидоне изпод молока.

Но обратимся к самой процедуре (вернее, ритуалу) «проработок».

Приемы обвинителей в космополитизме (индоевропеизме, потом в марризме и т. п.) были однообразны даже в выражениях. Как и в следственных делах ОГПУ, выхватывался один факт, одна цитата и толковались таким образом, как это было нужно обвинителю. Доказательств, разумеется, не требовалось никаких, ибо не было и тех «вин», которые приписывались ученым. Формулировались обвинения, как правило, так: «Не случайно утверждает, что...»; «NN договорился до того, что...»; «Понятно, что для NN...»; «NN проговаривается, что...»; «NN не может скрыть своей...» Редко кто из присутствовавших требовал привести полностью выхваченные из контекста слова, учесть обстоятельства, тему, время. Это было равносильно подтверждению солидарности с обвиняемым. Часто обвинители приводили слова из цитат, с которыми сам NN спорил, и приписывали их NN. Для «точности» зато указывались страницы статьи или книги.

Во взвинченной атмосфере зала обвиняемому трудно было запомнить все сказанное и проверить. Обычно

ему представляли слово после всех выступлений, не давая права ответа на каждое выступление отдельно. Обвиняемого стремились сбить выкриками с мест, шумом «возмущения» и т. п. Председательствующий останавливал только обвиняемого. И когда обвиняемый в конце концов что-то признавал за собой (но не все), чтобы смягчить своих палачей, то это частичное признание считалось полным, и председательствующий в своем заключительном слове заявлял, что NN «признал», «признался», «согласился», «сознался» и пр., повторяя все, сказанное другими, зачитывая то, что было заранее подготовлено на собраниях «ячеек», «бюро», «комиссий» и т. д.

Чтобы обвинения «проработок» не забывались, выпускались особые стенгазеты. Значение этой «стенной литературы» было очень велико. Содержание статей в них контролировалось парторганизациями. Здесь проработчикам можно было разгуляться даже шире, чем на собрании или чем в печати областной или центральной. Жертвы «проработок» подвергались оскорбительным издевательствам. Помещались карикатуры и лозунги через всю газету: «До конца искоренить!»; «Покончить с...!», «Вырвать с корнем!» и т. п. В них особенно доставалось ученикам, друзьям, просто честным ученым, попытавшимся вступить за гонимых.

Как-то мы с Б.В. Томашевским подошли к нашей институтской стенгазете, в которой большими буквами был написан очередной призыв «До конца искоренением формализм» (или что-то в этом роде). Скользя взглядом своих близоруких глаз по содержанию заметок и лозунгу, Борис Викторович, вздохнув, громко произнес: «Раньше проще было: "Бей жидов, спасай Россию!"» У стенгазеты (сразу после ее выхода) вертелись стукачи: следили за реакцией читателей, и Борис Викторович это, разумеется, знал...

Каждого выпуска стенгазеты ждали: определялось направление, в котором должен дальше идти «охотничий гон».

Одними из главных «проработчиков» в Пушкинском Доме были Л.А. Плоткин и Б.С. Мейлах, П. Ширяева, доцент ЛГУ И.П. Лапицкий, известные за его пределами.

Так, Плоткин разразился в «Ленинградской правде» статьей против М.М. Зощенко, после которой Михаил Михайлович напряженно ждал, что его арестуют. Он собрал портфель с нужнейшими вещами и выходил к большим воротам своего дома после 12 часов ночи, чтобы быть арестованным не при жене...

Б.С. Мейлах поместил в стенгазете Пушкинского Дома огромную погромную статью против Б.М. Эйхенбаума, в которой муссировалась одна и та же фраза из «Моего современника», в которой он косвенно признавал себя евреем (не хочется сейчас возобновлять ее в памяти). Стенгазета с этой статьей висела в коридоре второго этажа Пушкинского Дома, когда Б.М. Эйхенбаум внезапно умер в Доме писателей во время чествований А. Мариенгофа, и гроб с его телом поставили в Союзе писателей. Никто и не подумал снять эту стенгазету, и этот факт стал известен всему миру благодаря некрологу, написанному Р.О. Якобсоном. Правда, последний ошибся, утверждая, что стенгазета висела в том же помещении, где стоял гроб Эйхенбаума. В Пушкинском Доме даже и гроб бы не приняли: там было почище, чем в Союзе писателей...

А как вели себя обычно в зале при «проработках»? Расположение участников было, как правило, такое: за столом президиума «празднично» сидели «почтенные» ученые, партийные и общественные руководители местного масштаба с глубокомысленными лицами. Первые ряды зала занимали те из «ученых», которым надлежало выражать одобрение или выступать с обвинениями. Дальше — остальная часть зала, которая в ужасе ожидала, сочувствовала несчастным, тихо — а иногда и громко — возмущалась. «Стучаки» повсюду бодрствовали.

Решались ли люди на выступления, противоречившие партийным установкам? Да, и такое было. Чаще всего люди выступали, смягчая обвинения. Но были и решительные опровержения обвинений. На памяти у всех было, например, выступление Н.И. Мордовченко в защиту Г.А. Гукковского в Ленинградском университете. Мордовченко

заявил, что не может поверить злонамеренности Гуковского и решительно отказывается его осудить. Немедленных кар не последовало. Просто Н.Ф. Бельчиков не утверждал его докторскую защиту более года. Мордовченко был очень подавлен: студентам не объяснишь, почему Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отказывается присудить ему докторскую степень. Я и сам не очень понимаю, в какой степени это было актом личной мести Н.Ф. Бельчикова, всесильного в ВАКе по филологическим наукам, а в какой — результатом распоряжения партийной организации. Ходили и слухи о скором аресте. В результате подавленного состояния Н.И. Мордовченко заболел раком. Положили его в Онкологическую клинику на Березовой аллее Каменного острова. Вместе с П.Н. Берковым мы находились тогда в Желудочном санатории недалеко от Онкологической клиники. Я не решался приходить к Николаю Ивановичу на свидания (там постоянно дежурила у постели его жена — Елена Дмитриевна), но ежедневно заходил спросить о его состоянии в справочное бюро. Однажды утром вместо обычного утешительного ответа меня оглушили встречным вопросом: «А вы кем ему приходитесь?» Я понял значение этого вопроса и спросил: «Умер?» Ответ был утвердительным...

Защита Г.А. Гуковского стоила Н.И. Мордовченко жизни. А сам Гуковский после «проработки», проходившей в его отсутствие (он был в отпуске), был арестован и расстрелян (по официальной версии, «скончался»).

Приходилось выступать в защиту истязуемых и мне. А дело было так. Директором Пушкинского Дома был Н.Ф. Бельчиков, наделенный особыми полномочиями: очистить институт от космополитов. Обычно он приезжал из Москвы, где жил постоянно, на два-три дня, останавливался в комнате, которая была у него во дворе главного здания Академии наук, в том корпусе, где ныне — зубо врачебное отделение поликлиники Академии наук. Туда к нему для «конфиденциальных» разговоров стекалась вся институтская мразь... Мотался он между Москвой и Ленинградом и занимался, главным образом, бдительной охраной лите-

ратуроведения и опорочиванием ученых-литературоведов. Усугублялось все его патологической склонностью к выдумкам. Прямой и вспыльчивый П.Н. Берков возьми и скажи ему все, что он думал (а думал он то, что и большинство сотрудников Пушкинского Дома). Наиболее злая и краткая характеристика Бельчикова принадлежит, бесспорно, Б.В. Томашевскому: «Единственное, что есть у Н.Ф. Бельчикова прямое, — это прямая кишка. И то ее вырезали!» (У Н.Ф. действительно был оперирован рак прямой кишки). Конечно, остроту эту П.Н. Берков в глаза Бельчикову не повторил, но о его «научных заслугах» сказал в глаза прямо. Выслушал Бельчиков все сказанное ему Павлом Наумовичем тихо и немедленной «проработки» организовать не решился: был он все-таки трус. Бельчиков (или, как его называл Б.М. Эйхенбаум, — «Бельчичиков») возненавидел П.Н. Беркова и, хотя распоряжений обкома не было, организовал против ученого большую статью в «Ленинградской правде», принадлежавшую перу двух парнишек с филфака ЛГУ — Елкина и второго, фамилию которого забыл, так как, приближая ее к известной русской поговорке, называл всегда «Палкиным».

После появления этой гнусной статьи было назначено обсуждение ее в Пушкинском Доме (так полагалось), и Бельчиков вроде как оставался «чистым». Было собрано заседание Ученого Совета. Мы с Б.В. Томашевским решили защищать П.Н. Беркова и разработали тактику: я должен был выступить в конце заседания, а Б.В. Томашевский — последним (роль последнего выступающего всегда была очень важна). Так и сделали. Когда уже должны были предоставить слово П.Н. Беркову для «покаяния», потребовал слова я и подробно доказал, что в статье «Елкина-Палкина» Ленину приписано как раз обратное тому, что он писал, и что обвинение П.Н. Беркова в «библиографическом методе» безграмотно, так как библиография — наука, а не метод. Мое выступление вряд ли могло что-либо изменить, если бы не содержащиеся в нем ссылки на Ленина. Я это знал и потому выступал очень решительно. Н.Ф. Бельчиков заявил, что заседание, ввиду его важнос-

ти, не может быть закончено, и предложил перенести его на следующую неделю. Второе заседание я помню плохо, хотя на нем «под занавес» с очень сильными аргументами (и, как всегда, — блестяще) выступил Б.В. Томашевский. Н.Ф. Бельчиков вынужден был назначить третье заседание Ученого Совета. На что Бельчиков надеялся, — я не знаю. Авторы статьи не выступали: были они слишком неавторитетны для открытых доносов (таких авторов, как они, только «принимали во внимание» в письмах и статьях).

Помню, что, встретив меня в грязной, как обычно, уборной Института на первом этаже, Б.В. Томашевский сказал: «Вот единственное место в Пушкинском Доме, где легко дышится!»

Итак, третье заседание по обсуждению работ П.Н. Беркова. То ли нервы у Павла Наумовича не выдержали, то ли кто-то из «доброхотов» уговорил, но, не предупредив ни меня, ни Томашевского, П.Н. Берков выступил с полупризнанием своих ошибок. Томашевский вскипел, и когда весь переполненный зал, ожидавший победы правды, разочарованно расходился, громко сказал мне через головы выходивших: «Дмитрий Сергеевич, а что же мы с вами старались?!» Слова эти я запомнил точно.

Н.Ф. Бельчиков возненавидел меня еще сильнее и стал, в свою очередь, «стараться», но уже иными приемами.

Н.Ф. Бельчиков пылал патологической страстью ссорить людей. В Москве он уверял Н.К. Гудзия, что Лихачев его ненавидит, в чем-то обвиняет, а в Ленинграде говорил мне, что таким же образом по отношению уже ко мне ведет себя Николай Калинин. По счастью, я очень хорошо знал Гудзия, а Гудзий — меня, чтобы это имело последствия, ожидаемые Бельчиковым. Я знал, что Н.К. Гудзий очень прямой человек и никогда не станет лицемерить. Поэтому, когда Н.Ф. Бельчиков, приехав из Москвы, стал уверять меня, что Гудзий меня бранит и что-то против меня затевает, я сразу сказал, что этого не может быть. Аналогичным образом реагировал в Москве и Н.К. Гудзий.

Желая возбудить против меня в Институте партийных, Н.Ф. Бельчиков стал говорить им: «Лихачев — сын

известного в Петербурге домовладельца-миллионера. Вот какие люди у нас работают!» Встретив после этого Бельчикова, я сказал ему: «О том, кто мой отец, вы можете прочесть в моем деле, а подтверждением этому — справочник “Весь Петербург”». Н.Ф. Бельчиков лишь сказал: «А я думал...»

Работать становилось все тяжелее. И мы с М.П. Алексеевым решили, наконец, поставить вопрос об отстранении Бельчикова от руководства Пушкинским Домом перед академиком-секретарем Отделения литературы и языка В.В. Виноградовым: когда все воюют со всеми, работа не ведется. Решили ехать к В.В. Виноградову в Москву. Командировать нас Бельчиков отказался. Мы все же достали билеты (хотя это было нелегко) и отправились в «самовольную отлучку». В.В. Виноградова я предупредил о нашем приезде по телефону.

Со временем память о некоторых деталях стерлась, и я не могу припомнить, был ли М.П. Алексеев со мною в Москве в Отделении литературы и языка. Или я ездил в Москву два раза: один — с М.П. Алексеевым, другой — один (но чем тогда закончился первый разговор? Провал памяти!).

Во всяком случае, прихожу я в Отделение и узнаю, что в кабинете Виктора Владимировича уже сидит... Н.Ф. Бельчиков. Значит, обогнал меня. Я попросил принять меня. Виктор Владимирович говорит: «А у меня здесь Николай Федорович». Я отвечаю: «Очень хорошо! Иначе мне было бы затруднительно излагать свои претензии к нему заглазно». Виктор Владимирович: «Да, сейчас у нас в Отделении и секретарь парторганизации — Бархударов». Я отвечаю: «Со всем хорошо: все вопросы мы сможем решить сразу». Усаживаемся, и я при всех троих, в присутствии Н.Ф. Бельчикова, рассказываю о том, как он «организует» работу Института, ссорит сотрудников (привожу конкретные примеры). В.В. Виноградов при нас звонит в отдел кадров Президиума Академии наук и говорит: «Ко мне приехал Д.С. Лихачев и в присутствии директора Института объяснил, почему он не может с ним работать. По-моему, он прав!»

Одним словом, вопрос о Бельчикове был решен почти немедленно: он был отстранен от директорства. В Институте на время было установлено коллективное правление, в которое в качестве заместителя директора вошла и В.П. Адрианова-Перетц.

Меня самого «прорабатывали» неоднократно. Я никогда не был ни формалистом, ни антипатриотом, ни космополитом, не принадлежал ни к каким «прорабатываемым» течениям. Найти в моих работах что-либо антисоветское было трудно. И все-таки я был явно не «свой»: Сталина и Ленина почти не цитировал. На это обратили особое внимание, когда вышла моя книга «Возникновение русской литературы». Заставили написать введение и заключение с соответствующим цитированием «корифея всех наук». После принятия в сотрудники Сектора Якова Соломоновича Лурье придирки начались самые невероятные. Главным обвинителем неизменно выступал преподаватель филфака университета И.П. Лапицкий, а по историческому факультету, где я преподавал (на филологический меня просто не допускали) — Степанищев, Уродков и Карнатовский.

Расскажу о некоторых «проработках», где обвиняемым пришлось быть мне самому.

Весной 1952-го или 1953-го в Институте было назначено специальное обсуждение «Посланий Ивана Грозного». Напомню, что книга представляет собою простое издание текстов Грозного, а завершалась моей статьей о Грозном как о писателе и комментариями Я.С. Лурье.

Перед обсуждением — примерно за неделю — произошло событие, которое должно было бы спутать карты всех моих недоброжелателей: я получил Сталинскую премию второй степени за участие в создании «Истории культуры Древней Руси». По всем партийным правилам это делало меня, во всяком случае, на некоторое время «неприкасаемым». Но в моем случае обсуждение книги с повестки дня снято не было.

Наш Пушкинский Дом курировала в обкоме инструктор Воробьева-Смирнова (впоследствии — редактор Ле-

нинградского отделения издательства «Художественная литература») — ученица М.О. Скрипиля, к которой этот почтенного возраста человек ходил доносить на меня. Воробьева-Смирнова не только приказала проводить обсуждение, но и сама первая на нем выступила (вопреки правилам: работники обкома не выступали на «проработках»), обвинив книгу в «объективизме» и еще в чем-то. Парторганизация провела соответствующую «работу» среди ученых, и несколько солидных (или считавшихся солидными) коллег были готовы поддержать обвинения. Малый зал Пушкинского Дома был набит народом, многие стояли. Оригинальность поздравления с получением Сталинской премии была такова, что многие пришли из любопытства.

Началось как обычно. Председательствующий, сделав несколько комплиментарных отзывов в мой адрес (Лурье не был упомянут), призвал присутствующих «не поддаваться на обаяние заслуг» и тем более критично выступить, чем более работы Лихачева воздействуют на читателя. То есть все — в интересах моих же работ! Гвоздем проработки было выступление М.О. Скрипиля. Вопреки своим привычкам он его читал, читал мягким и вкрадчивым, даже ласковым голосом. Среди обвинений прозвучало и такое, произнесенное скороговоркой: «Не случайно Дмитрий Сергеевич сочувствует изменнику Родины — князю Андрею Курбскому». Огласив свои обвинения, М.О. Скрипиль передал текст выступления стенографистке. В тогдашней обстановке результатом такого выступления вполне мог стать арест. Я понял, что выступление было конспектом разговоров Скрипиля с Воробьевой-Смирновой в обкоме и что именно на нем мне необходимо сосредоточиться в ответе. Я так и сделал. Подробно изложил, как трактуется мною бегство Курбского, и заодно показал, что «уход в текстологию от насущных политических задач современности» является чистейшей выдумкой, тем более странной, что вопросы текстологии глубоко интересуют самого М.О. Скрипиля. Обсуждение закончилось ничем, и даже Я.С. Лурье остался в тени и не был уволен из Института (я просил его не выступать ни в Союзе писателей, ни в Пушкинском Доме).

В сентябре или октябре 1950 г. я болел: у меня было язвенное кровотечение, и я должен был лежать. В Доме писателей происходило их массовое «сечение». Я был только что принят в Союз по рекомендации В.М. Жирмунского и В.Н. Орлова и никак не мог подумать, что «про-работка» коснется и меня. Но коснулась! В своем огромном и погромном выступлении И.П. Лапицкий подверг «критике» мои работы. Я решил ответить и явился на продолжение писательского собрания, происходившего в большом зале при массовом стечении народа. Я хорошо подготовился.

Лапицкий выступал вторично, уже в моем присутствии, причем «громил» и Я.С. Лурье. В перерыве, перед вторым выступлением Лапицкого (в котором он вновь подверг нападкам нас обоих за издание в «Литературных памятниках» «Посланий Ивана Грозного»), Я.С. Лурье ходил за мной, повторяя: «Все пропало, все пропало!». Позади Якова Соломоновича ходил и слушал небезызвестный «громил» Комсар Григорьян. В конце концов, не желая, чтобы наш «разговор» стал известен Лапицкому, я пошел, чтобы скрыться, в уборную, но туда за мною устремился и Лурье, а за ним, не отставая, — и Григорьян...

После перерыва я выступил и, как мне представляется, хорошо ответил Лапицкому по всем пунктам, указав на ошибочность его цитирований не только нас с Лурье, но и «классиков марксизма». Дело, казалось, было ясным, и меня поздравляли с победой, но председательствовавший обкомовский работник сформулировал заключение приблизительно так: «Дело специальное, надо разобраться, не может быть, чтобы в обвинениях Лапицкого не содержалось совсем никаких правильных положений». Я выкрикнул с места: «Никаких!» — и заседание было закрыто.

Конечно, отношение ко мне институтского начальства и обкома отнюдь не изменилось (да и не могло измениться), но теперь главные нападки на меня стали звучать на историческом факультете университета и длились там довольно долго — пока я преподавал. На каждом заседании кафедры истории СССР против меня кто-нибудь выступал,

заседания стал посещать И.П. Лапицкий, никак формально с нею не связанный; посещал с единственной целью — уязвлять меня чем-либо. Я перестал ходить на заседания кафедры...

Однажды, придя в кассу университета, я обратил внимание на то, что зарплату получаю какую-то необычно малую. Спросил об этом у кассира, а та мне ответила: «Обычная ставка ассистента» (я к тому времени был уже членом-корреспондентом АН). Следовательно, меня перевели в ассистенты, даже не поставив в известность об этом. Совершенно явно меня «выталкивали» с исторического факультета. Получать ассистентские деньги я отказался и, не сообщив в свою очередь на кафедре, прекратил преподавание на факультете...

«Вдогонку» мне в «Вестнике ЛГУ» была напечатана статья И. Лапицкого, в которой я обвинялся во всех смертных грехах: я и монархист, и эсер, и троцкист, и еще не упомяну кто. Мой телефонный разговор с тогдашним ректором университета А.Д. Александровым не привел ни к чему. Александров отстаивал право Лапицкого «на свое мнение»...

Весной 1994 г. я был на заседании памяти И.П. Еремина на филологическом факультете университета. В гардеробе В. Холшевников напомнил мне, как в том же помещении кафедры русской литературы прорабатывали меня вместе с И.П. Ереминым некая Рождественская, И. Лапицкий и Ф.А. Абрамов, еще не успевший разобраться в делах «государственной идеологии». Впоследствии, когда мы плыли с ним на Соловки из Архангельска на пароходе «Татария», он подошел ко мне и в середине разговора о красотах Севера неожиданно сказал мне: «А я думал, вы со мной разговаривать не станете», — и сам напомнил мне о своем проработочном выступлении в университете. А я уже было и забыл про его выступление — настолько обычными были тогда такие «порки». Кстати, я тогда пришел на обсуждение наших работ исключительно из солидарности. Мог бы не приходить, так как на филологическом факультете я не преподавал: не пускали.

Особенно отвратительна была во время проработки Рождественская. Это была чрезвычайно худая (от злости?) и некрасивая, неряшливо одетая девица. Она прорабатывала всех, но сама она так ничего и не защитила. Свою речь, как напомнил мне В.Е. Холшевников, она начала так: «Я целых три недели изучала древнюю русскую литературу и пришла к убеждению, что ни Лихачев, ни Еремин ничего так в ней и не поняли...» Может быть, В.Е. Холшевников «сгустил» немного, но смысл выступления он передал верно.

Выступление Рождественской никого не удивило. Все привыкли, как и к издевкам мучительно извивавшегося во время своих выступлений Лапицкого.

В «романовские» времена «проработки» получили другие формы. В октябре 1975 г. было назначено мое выступление в актовом зале филфака о «Слове о полку Игореве». Когда за час до выступления я вышел из дверей моей квартиры, на площадке лестницы на меня напал человек среднего роста с явно наклеенными большими черными усами («ложная примета») и кулаком ударил меня в солнечное сплетение. Но на мне было новое двубортное пальто из толстого драпа, и удар не возымел надлежащего действия. Тогда неизвестный ударил меня в сердце, но в боковом кармане в папке находился мой доклад (мое сердце защищало «Слово о полку Игореве»), и удар опять оказался неэффективным. Я бросился назад в квартиру и стал звонить в милицию. Потом спустился вниз, где меня поджидал шофер (явно из той же организации), и я сам бросился искать нападавшего по ближайшим улицам и закоулкам. Но он, конечно, уже сменил свою спортивную шапочку и содрал наклеенные усы. Я поехал делать доклад...

Мое обращение к следователю в милиции имело тот же результат, что и обращение о нападении на мою квартиру в 1976 г.

Это время — 1976 г. — было в Ленинграде временем поджогов квартир диссидентов и левых художников. На майские праздники мы отправились на дачу. Вернувшись, застали в своей квартире разгуливавшего милиционера.

Окна балконной двери были выбиты. Милиционер просил нас не беспокоиться: он дожидался нашего прихода. Оказалось, что около трех часов ночи накануне сработала звуковая сигнализация: дом был разбужен ревун. На лестницу же выскочил только один человек — научный работник, живший под нами, остальные побоялись. Поджигатели (а это были именно они) повесили бак с горючей жидкостью на входную дверь и пытались через резиновый шланг закачать ее в квартиру. Но жидкость не шла: щель была слишком узкой. Тогда они стали ломиком расширять ее и раскачали входную дверь. Звуковая охрана, о которой они ничего не знали (она была поставлена на фамилию мужа дочери), стала дико выть, и поджигатели бежали, оставив перед дверью и канистру с жидкостью, и жгуты из пластика, которыми пытались залепить щели, чтобы жидкость не вытекала назад, и другие «технические мелочи».

Следствие велось своеобразно: канистра с жидкостью была уничтожена, состав этой жидкости определен не был (мой младший брат-инженер сказал, что по запаху — это смесь керосина и ацетона), отпечатки пальцев (поджигатели убегали, вытирая руки о крашеные стены лестницы) смыли. Дело передавалось из рук в руки, пока, наконец, женщина-следователь благожелательно не сказала: «И не ищите!»

Впрочем, кулаки и поджог были не только последними аргументами в попытках моей «проработки», но и мстью за Сахарова и Солженицына.

Нападение на площадке квартиры произошло как раз в тот день, когда М.Б. Храпченко, не совсем честным путем сменивший на посту академика-секретаря В.В. Виноградова, позвонил мне из Москвы и предложил подписать вместе с членами Президиума АН знаменитое письмо академиков, осуждавшее А.Д. Сахарова. «Этим с вас снимутся все обвинения и недовольство». Я ответил, что не хочу подписывать, да еще и не читая. Храпченко заключил: «Ну, на нет и суда нет!» Он оказался неправ: суд все же нашелся — вернее, «самосуд». Что касается майского поджога, то

здесь, вероятно, сыграло роль мое участие в написании черновика главы о Соловках в «Архипелаге ГУЛАГе». Не буду рассказывать всего того, что мне довелось пережить, защищая от сноса Путевой дворец на Средней Рогатке, церковь на Сенной, церковь в Мурине, от вырубок парки Царского Села, от «реконструкций» Невский проспект, от нечистот Финский залив и т. д. и т. п. Достаточно посмотреть список моих газетных и журнальных статей, чтобы понять, как много сил и времени отнимала у меня от науки борьба в защиту русской культуры.

*Избранное. Воспоминания.
СПб., 1997. С. 359–368*

